



— Я сделал из нее жительницу южных побережий, украденную пиратами, спасенную англичанами и татуированную всеми, кому только было угодно.

Что до меня, то я отбросил в сторону мертвые языки и сделался просто патагонцем, ее вожаком, единственным, кто умел объясняться с ней и заставлять ее повиноваться.

Славный Поваренок, наш старый, верный помощник, — вот кто выкрикивал теперь у входа все эти любопытные вещи!

Благодаря его рекламе и какому-то яванскому наречию, изобретенному нами для собственного удовольствия, мы с Розитой все время потешались над публикой.

Порой мы не могли удержаться от смеха. Тогда она поворачивалась спиной к зрителям, вопила, кричала, рычала и, наконец, заглушала смех, уткнувшись лицом в брюшко сырого цыпленка, которого держала в руках. Я наклонялся к ней, как бы для того, чтобы ее успокоить, и мы оба надрывались от хохота.

Правда, иногда мне было не до смеха: каждый раз, обновляя на ней краску, я выпускал вздохи, которые были длиннее, чем я сам; ведь я красил Розиту, как красят двери — банка с краской в одной руке, кисть в другой. На это любимое тело я надевал плащ из чернил и растительного масла и вдевал кольца в ее розовый носик.

Неужели это она бродила там, на сцене, как дикий зверь, жуя табак, выплевывая огонь?

Поцелуев больше не было — между нами легла пропасть.

Приходилось дожидаться вечера. Да и вечером от нее не оставалось ничего европейского, кроме того кусочка тела, который ей удавалось спрятать под одеждой; она была белой женщиной лишь на одну треть, а на две трети — дикаркой.

Ах, сударь, как это больно! Не пожелаю вам иметь возлюбленную, которую приходится красить и к которой нельзя потом прикоснуться, словно к свежеразкрашенной стене!

Нам пришлось расстаться с малюткой, иначе ее тоже пришлось бы татуировать, и мы предпочли отослать ее к старой сестре Поваренка, жившей в деревне.

Как-то раз нам с Розитой захотелось побродить вечером по дорогам, подышать ароматом полей и лесов. У меня явилось желание снова увидеть Розиту свежей и кокетливой, если только это было возможно для нее в выцветшем ситцевом платье, единственном, которое у нее осталось.

В десяти минутах ходьбы от нашей палатки протекала речка. Розита вышла, закутавшись в плащ, закрыв голову капюшоном, и окунула свое размалеванное тело в светлые волны.

Однако прачки, при свете луны полоскавшие белье немного ниже по течению, увидели ее и обо всем догадались по цвету воды, которая принесла к ним смытую с нее сажу. Они начали кричать, что она пачкает их белье, мутит воду, и погнались за ней, забрасывая ее грязью, осыпая бранью.

К ним присоединились и мужчины.

Я хотел было броситься в толпу, схватить кого-нибудь из оскорблявших ее зевак и переломить его о свое колено. Но мысль о жандармах, о тюрьме испугала меня; подумав о том, что меня могут разлучить с ней, я задрожал и в темноте увлек ее прочь.

Один бог знает, что бы мы стали делать в таком виде: она — полуголая, я — в костюме генерала, без треуголки! Нам нельзя было вернуться в палатку, так как наши преследователи могли погнаться за нами и убить. Поваренку, оставшемуся там, едва удалось удрать от них. В этот день он навсегда распрощался с балаганом и спустя несколько дней сообщил нам, что находится там же, где Виолетта, и будет жить на свои сбережения и сбережения своей сестры.

Случай, ангел — хранитель бедняков, привел на нашу дорогу ребенка из семьи циркачей, saltados — акробата. Бедный мальчик только что похоронил в нескольких лье отсюда свою мать и вместе с сестрой, восьмилетней сироткой, возвращался обратно в труппу, в соседний городок.

Мы окликнули его.

Увидев нас, девочка испуганно закричала, но мы подошли ближе и быстро подружались. В двух словах я рассказал нашу историю, мальчик — акробат рассказал мне свою. Он тоже был беден, очень беден, но у него все-таки оставался еще старый клоунский колпак, который он отдал мне, а Розита накинула на плечи, застывшие от ночного холода, его коврик для упражнений. Я посадил уставшую девочку к себе на спину и с этим грузом возглавил шествие.

Я походил на одного из тех библейских великанов, которых изгонял перст пророка и которые шагали, унося с собой и семью и родину, по какой-то далекой и проклятой земле.

Мы без помехи добрались до харчевни, где застали только что прибывшую труппу, к которой и должен был присоединиться наш спутник.

Директор предложил нам работать у нею, но при условии, »то я откажусь от роли великана и придумаю какой-нибудь но- ьш «трюк». У него не было театра, и он не мог, да и не хотел открывать его.

Жребий мой был брошен уже давно.

Я даже не стал раздумывать: дал отставку великану и сделался уличным акробатом.

Уличные акробаты — это лица, у которых нет ни дощатого балагана, ни полотняной палатки, ничего, кроме разрешения префекта или мэра выворачивать себе члены и ломать кости, как и где им заблагорассудится, — на улицах, площадях, на перекрестках. Кассой им служит разбитое блюдце или старая оловянная тарелка.

— Милостивые государи и государыни, вот наша маленькая касса! Раскошеливайтесь! Не стесняйтесь! Если наша работа кажется вам честной и достойной внимания, просим не забывать нас. Мы принимаем все — от одного сантима до тысячи франков. Эй, музыка!

И вот представление начинается. Пока артисты исполняют номера, чтобы заработать несколько су — лишь несколько су! — клоун или девочка обходят публику и собирают свое жалкое вознаграждение.

Все те несчастные, которые ходят под окнами во дворах и жонглируют, поют, прыгают, которые поднимают с земли завернутый в бумажку медяк и смиренно просят у дверей кафе, чтобы им позволили вывернуть себе конечности или вывихнуть шею. словом, все те, которые вымалывают под открытым небом медную монету, — это уличные акробаты.

Их родина — улица, этот приют отставных циркачей: цыганок с обветренной кожей и худыми ногами, которые все еще танцуют и трясут плечами, ударяя высохшими пальцами в бубен; разбившихся акробатов, выдохшихся паяцев, неудавшихся уродов.

Весь капитал этих бедняков состоит в их гибкости и в их мужестве. Они терпят страшную нужду, глотают шпаги, пьют свинец, жуют цинк, изображают лягушку, змею, шест, вывихивают себе члены и честно поддерживают свою семью — поддерживают ее своим горбом.

Вот в эту-то невеселую армию богемы я и вступил.

С высоты я упал прямо на улицу и, чтобы жить, испробовал все амплу.

Начал я с того, что держал шест.

На палку, которую держит, крепко упершись ногами в землю, человек атлетического сложения, взбирается другой человек. Добравшись до верху, он делает там разные сложные гимнастические упражнения, затем ложится ничком на конец палки и, словно червяк, насаженный на иголку, беснуется в пустоте, шевелит руками и ногами, плавает в пространстве.

Уличный акробат — это совсем не то, что акробат в цирке, стоящий под спокойным светом люстры. Здесь он следит за каждым движением человека, которого держит на конце палки, стоя под открытым небом, под слепящим солнцем, не защищенный от ветра. Если луч солнца неожиданно блеснет перед зрачками атлета, если под ногу ему подвернется камешек или чуть заметная неровность почвы... Да что там! Достаточно крошечной пылинки или дождевой капли, и равновесие нарушено, шест покачнулся, упал, и человек погиб.

О, когда в первый раз я почувствовал на кончике своего шеста человеческое существо — существо, удивленное тем, что на этот раз оно оказалось так высоко, я обратил к нему не только глаза, но и сердце.

Слава богу, я достаточно крепок, и шест отклонился у меня только один раз, на какую-нибудь четверть линии.

Как легко избавиться от человека, которого ненавидишь, когда держишь его жизнь вот так, на своей груди, рядом с сердцем...

Подчас этот человек — негодяй, отнявший у вас ваше счастье и навсегда нарушивший ваш покой. Он заслужил смерть. Стоит вам искусственно закашляться, сделать одно неверное движение, заранее ослабить ляжку... и все кончено, правосудие свершилось. Однажды я чуть было не свершил его сам.

Услышав это страшное признание, я невольно вздрогнул.

— о, то была лишь мимолетная мысль, быстрая, как вспышка молнии. Все же этого достаточно, и на страшном суде бог потребует у меня отчета за этот миг. Однако я никого не убил, и тот, кто должен был умереть, все еще жив. Вы ведь догадываетесь, кто это? — спросил великан, глядя на меня.

— Шут, который сегодня утром...

— А кто же еще? — ответил великан с гневом. И продолжал:

— После шеста я начал работать с гирями.

Каждый человек вполне может, поупражнявшись и хорошенько изучив приемы, поднять гирю в сорок килограммов, и нет такого циркача, который при случае не был бы немного атлетом. В нашем ремесле надо все уметь понемногу.

Мне это было совсем нетрудно, и если порой я испытывал боль, то не от синяков, которые оставляла гиря, падая обратно мне на плечи, а от стыда, душившего меня при воспоминании о прошлом.

Однажды я увидел в публике женщину, походившую на мою мать. Поднятая гиря выскользнула у меня из рук и, описав крУг, размозжила голову ребенка, которого держала на руках другая женщина.

Бедняжка, она даже не вскрикнула. Она упала, безмолвная и бледная как полотно.

Я хотел покончить с собой. Какое там! Будь у меня мужество, я уже давно сделал бы это, но нет, я был жалким трусом.

Быть может, также имя Виолетты, произнесенное Розитой, Нашей маленькой дочурки Виолетты, которая все еще жила у сестры Поваренка, оказалось целебным средством и

утешением. Перед трупом этого чужого ребенка я вспомнил, что и у меня есть дочь.

Мне невозможно было оставаться дольше в тех краях, да и труппа не слишком стремилась удержать меня. Это ужасное происшествие тяготело над нами. Мы уехали.

Должен сказать, что Розита выказала себя нежной, любящей, преданной. Она нашла для моего утешения слова, полные ласки, и — увы! — именно с этим тяжелым периодом связаны у меня самые трогательные, самые дорогие воспоминания.

Я забыл несчастье, виновником которого был только случай. Случай? Но ведь если бы я не покинул свою мать, если бы не боялся встречи с ней, моя рука не дрогнула бы и гиря не убила бы ребенка...

Как бы то ни было, огонь страсти растопил упреки совести, и теперь я храбро, без особого стыда, соглашался на гадкие и жалкие авантюры, которые встречались на моем пути.

Я глотал камни, огонь; пил расплавленный свинец.

Я входил в горящую печь с двумя сырыми цыплятами и выходил из нее с жареными.

Я клал на язык раскаленное железо и зажигал пунш в ладони.

— Вам был известен какой-нибудь секрет?

— И да и нет. Каждый может без подготовки опустить руку в раскаленный металл; иногда приходится прибегать к помощи квасцов. Все это обходится недорого, зато и прибыли не дает: зрителям нужны сожженные языки и заживо горящие люди. Но пока еще никто не отважился на это.

Я начал глотать шпаги.

Моим учителем был сам Жан де Вир, фанатик своего дела, дон Жуан на пиршествах стали. Он занимался этим искусством *domi et foris*[6], на улице, в кафе, за столом; он засовывал в нос гвозди, и все видели, как потом они выходили у него из головы; он втыкал иголки в череп.

По праздникам он кутил вовсю: глотал длинный железный брус, украшенный толстыми шишками, узловатыми, как колени подагрика; он водил этот брус взад и вперед, смаковал его, словно это был сироп, потом выплевывал, и он с грохотом падал на мостовую.

— Какой черствый хлеб! — восклицал он при этом.

Умер он у нас на руках в первый день нового года, слишком глубоко засунув вилку, которой он любил играть и которую унес с собой на тот свет.

Умирая, он завещал мне свое хозяйство, все эти клинки, которые он отточил о стенки своего пищевода и которые побывали в темном подzemелье его желудка.

Устав от работы под открытым небом, я продал все это, купил несколько феноменов и решил устроить «пришел — ушел».

Эти два слова сами говорят за себя.

Так называют зрелища, сценой для которых служит старая грязная повозка, где пресмыкаются несколько отталкивающих монстров.

Открывается занавес, урод стоит или лежит, о нем рассказывают, или говорит он сам, зритель дает два су, приходит, уходит — вот откуда произошло это название.

Никаких расходов, кроме расхода на похлебку и подстилку для феноменов — двуногих или о пяти лапах.

Они смеются, плачут, блеют, рычат, растут или уменьшаются, сохнут или жиреют, — но все они должны дотянуть до конца, и накануне собственных похорон они все еще обязаны приветствовать публику, охорашиваться или изображать покойника, подавать руку, когти, показывать горб.

Чего только не увидишь в подобных балаганчиках! Какое смешение двуногих и четвероруких, ракообразных и млекопитающих! Какое множество варварских подделок и заимствований! Это ад, вымощенный чудовищными намерениями и изуродованными телами — зловещими сиротами, которых человек, созданный по образу и подобию божию, отказывается признать своими детьми!

— Оставим всех этих уродов. Я не буду больше рассказывать вам о них. Они могут рассердиться и сказать, что я клевету, если мне случится забыть или добавить что-либо, — эта порода легко приходит в раздражение, порода тех, кому природа чего-то недодала или дала слишком много!

Часто бывает, что феномен демонстрируется уже неживым. Это набитое чучело или заспиртованная кукла: чучело — почти всегда животное, заспиртованная кукла — человек.

Однако солома быстро вылезала из животов наших феноменов, и мы едва зарабатывали на новую.

К счастью, в скором времени мы нашли себе другое занятие.

Один человек, более удачливый, чем мы, присоединил наших мертвых уродов к своим живым, а мне за мои шесть футов пять дюймов предложил особое вознаграждение. Розите было поручено зазывать публику.

Я снова превратился в великана и начал выступать вместе с мужчиной без рук, по прозвищу «Храбрый Пешеход», и с Женщиной без ног, по прозвищу «Таинственный Зад».

Храбрый Пешеход... Быть может, вам приходилось видеть его? Это тот молодчик, который так ловко орудует ногами: про дельвует разные фокусы с ружьем, большим пальцем

подносит понюшку табаку к носу, а на том пальце ноги, которым держит перо, даже натер себе мозоли.

Таинственный Зад? Вы, наверное, встречали и ее, когда в запряженной ослом тележке она медленно тащилась куда-нибудь на окраину города; ведь появляться в других местах ей было запрещено с тех пор, как на одной из площадей Парижа беременная жена какого-то важного чиновника упала в обморок, увидев, как шевелится ее обрубок, а ребенок появился затем на свет с одной половиной тела.

Она покорно проходит жизненный путь на своем сиденье — волосяном, как думают одни, дубовом, как думают другие. Сказать правду, я и сам хорошенько не знаю, что это было — ткань или дерево, туфля или деревянный башмак. Да и не все ли равно, раз она исполняла на ней, или на нем — не знаю, право, как и сказать, — страстные, упоительные танцы?

Я ясно вижу, как этот странный, еще никем не разгаданный феномен сидит на табурете, раскачиваясь, словно туловище г дведя, и вдруг пускается в пляс, вертится, кружится и оста- гавливается лишь тогда, когда пораженная публика кричит: «Хватит, хватит!»

Затем, на десерт, она предлагает вам подойти и послушать ее живот, где, по ее словам, что-то тикает, как маятник башенных часов.

Что это? Уж не проглотила ли она карманные часы? Или, может быть, спрятала стенные?

В то время она жила в дружбе с Пешеходом и с гордостью держалась за его икры. Вдобавок ко всему она была кокетлива, требовательна, настойчива, настоящая бой — баба. Ей бы следовало носить штаны, если бы можно было представить себе в штанах женщину без ног.

У нее было когда-то двое детей, и она с гордостью говорила о них зрителям: «У меня де» здоровых сына. Они сложены, как вы и как я сама».

Таковы две стороны угла, вершиной которого служил я, люди, с которыми я вынужден был жить и которых называл нежным именем брата и сестры.

Эти два существа относились ко мне с откровенным презрением и очень любили меня мучить.

Храбрый Пешеход наступал мне на сапоги, царапал руки, Таинственный Зад кусала меня за ноги; мне нелегко было избавиться от их объятий, и эти изуродованные Вараввы[7] делали еще более мучительной мою Голгофу.

Розита снова взялась за свое ремесло зазывальщицы и выкрикивала рекламу у входа.

Труппа имела успех, такой успех, что к первому фургону прибавился второй, мы заказали большую афишу «Ж ивой музей», и нам пришлось заняться приисканием шута.

Глубокий вздох вырвался из груди великана, но он взял себя в руки и продолжал:

— Мы нашли этого шута, — вы знаете его, это тот самый, которого вы видели утром в балагане, которого увидите там и завтра и всегда, до тех пор, пока в кассе останется хоть одно су, а в труппе будет Розита.

О, едва он вошел — мы как раз сидели за ужином, — уже по одному тому, как он сел, как поднял стакан, я сразу понял, что хозяином здесь будет он и что за ним следом идет несчастье.

Когда же он поднялся на подмостки и выступил перед публикой вместе с Розитой, у меня — великана! — подкосились ноги.

Я всегда боялся за нее — вернее, за себя, — я боялся этой жизни подмостков, где она является героиней танцевальных номеров и сладострастных пантомим, где хозяин и шуты имеют право целовать ей плечи, обнимать за талию, где ее красота выставлена на продажу и где торг идет в ее присутствии. Я не раз видел поверх занавеса, как всякие распутные бездельники — маменькины сынки с золотым моноклем и артисты с длинными черными кудрями — рыщут вокруг канатных плясуний и танцовщиц с кастаньетами, бросая им сначала букет, а затем кошелек. Я боялся и того и другого — и кошелька и цветов — особенно цветов, потому что Розита была женщиной, способной опьяниться любым ароматом.

Они имели вместе неслыханный успех, и публика каждый вечер толпилась у входа в балаган, стремясь захватить начало и увидеть проделки Бетине, влюбленного в Изабеллу.

Бетине — имя шута. Он и сейчас носит это имя. Изабелла — псевдоним Розиты.

Я почти не слышал того, что говорилось на сцене, но порой до меня доносился звонкий поцелуй, обжигавший плечи возлюбленной, и я бледнел, как это было сегодня утром.

Поцелуй актерский, это правда, и все же он болезненно отзывался в моем сердце.

Пешеход и Зад заметили мою ревность и начали подстрекать ее с помощью недомолвок и насмешек. Порой меня охватывало желание встать и подойти поближе, но мое положение не позволяло мне этого: рост приковывал меня к месту.

К тому же страх мой был так велик, что я старался ничем его не выдавать и стал выказывать еще большую нежность и преданность Розите. Я просто угнетал ее теперь своей любовью. Жестокая, непоправимая ошибка! Нельзя показывать женщине, что вы не можете без нее обойтись! Признаться в этом — значит потерять ее уважение, отречься от своих прав, попасть под башмак, и, если вы имеете дело не с ангелом, — а они, говорят, редки, — довольно случая, чтобы оказаться обманутым. Приходит день, и этот случай предстает перед вами в образе сильного и хитрого мужчины.

Да, это так, наш шут был хитер и распутен, как самый развращенный парижанин.

Его жизнь была полна забавных приключений, в которых Пактол[8] и сточная канава постоянно скрещивались друг с другом! Это был шарлатан в полном смысле слова; он не

задумался бы сделать негра из Леверье[9] и великана из Лимейрака[10]!

Свою карьеру он начал как «слепец», распевая с наемным братом в кафе и во дворах, нащупывая жизнь концом своей палки.

Набрав несколько су с помощью слепоты, он купил «Ротомаго» и начал продавать «счастье».

«Ротомаго», или «Тома», мы называем стеклянную банку, в которой подвешена деревянная фигурка, поднимающаяся или опускающаяся в зависимости от движения пальца; этого-то плавающего в банке уродца люди вопрошают о своей судьбе, и за одно су он вытаскивает всем желающим предсказания о их прошлом, настоящем и будущем.

«Сейчас господин Ро... Ро... Ро... томаго скажет нам, кто вы такой».

Это и называется «погадать на счастье».

Иногда этим способом можно заработать даже больше, чем гаданьем на картах.

Бетине странствовал до тех пор, пока не проел всего, что у него было, и, оставшись ни с чем, снова сделался «слепцом».

Наконец счастье улыбнулось ему, и он опять стал зрячим. Ему удалось войти в компанию с директором одной труппы. Зная, чего стоит хороший шут, и поняв, какую выгоду можно извлечь из остроумия и находчивости Бетине, тот сделал его участником в барышах.

Он давал ему разные щекотливые поручения, и паяц всегда успешно справлялся с ними.

В те времена между директорами театров и бродячими актерами шла ожесточенная борьба. Несчастливым актерам приходилось платить колоссальные налоги. Один только Ларош переплатил больше тридцати тысяч франков театрального и благотворительного сбора.

Бетине взялся провести врага.

Однажды — это было во время ярмарки в Сен — Кантене — он отправляется вперед, подъезжает в полдень к городским воротам, останавливает там свои фургоны, снимает дорожную блузу и надевает другую, похуже, превращает в бахрому низ брюк (подобно тому, как некоторые полки намеренно треплют свое знамя), мнет фуражку и приводит в полную негодность башмаки; затем он спрашивает, где находится театр.

Явившись туда, он поднимается по артистической лестнице и просит доложить о себе директору. Тот отказывается его принять. Он настаивает. Его вводят в кабинет.

Видя этот мешок лохмотьев, директор отступает к окну и открывает его.

Бетине неловко кланяется и рассказывает суть дела:

— У меня имеется небольшой кабинет белой магии, очень опрятный.

Директор окидывает его взглядом и улыбается.

— Если бы господин директор изволил разрешить мне дать несколько представлений, в его театре...

Это уже слишком. Директор поднимается и берет за шляпу.

— В таком случае, — говорит Бетине, — я вынужден буду поставить свой балаганчик прямо на площади и давать представления там. Но вот насчет налогов... Я так беден, что...

— Можете вы уплатить мне двадцать франков? — спрашивает директор, чистя щеточкой свою шляпу.

— Двадцать франков — это, конечно, тяжело по нынешним временам, но если господину директору угодно будет выдать мне расписочку, то я готов.

И Бетине вытаскивает из старого, плохо заштопанного чулка двадцать франков — четыре пятифранковые монеты.

Директор выдает расписку, и Бетине уходит.

Через два дня вышеупомянутый директор, спустясь с лестницы и выйдя на улицу, видит прямо перед собой, напротив своего театра, огромное сооружение, целый дощатый Капитолий, и узнает позавчерашнего нищего в маленьком озабоченном человечке, который, подобно Цезарю, отдает распоряжения четырем плотникам одновременно.

Директор подходит к нему, они беседуют: директор заявляет, что Бетине его обокрал, и немедленно подает на него в суд.

Начинается процесс.

Адвокат театра смешивает с грязью всех бродячих актеров и, в частности, Бетине.

Но вот выступает Бетине.

Переплетая чувствительные фразы с шуткой и иронию со слезами, он защищается: его дети плачут, жена рождает! Увлекаемый порывом, он высоко поднимает изодранное знамя бродячих актеров.

— На мне надета блуза, — кричит он, — но она чистая! На мне грубые башмаки, но каблуки на них крепкие, а я знаю сапоги... (тут его взгляд забирается под мантию адвоката: у бедного малого каблуки стоптаны до самых голенищ, и он не знает, куда спрятать ноги). Я во всем себе отказываю, чтобы заплатить что полагается, зато уж никому не должен ни гроша. Спросите у Дубле, почтенного плотника с улицы Нотр — Дам.

— Верно! — произносит Дубле из глубины зала.

Это жестокий удар. Звезда директора меркнет.

Бетине расширяет тему дискуссии.

— Этот господин сказал (и он показывает на бедного адвоката, красного, стыдливо прячущего ноги), что бродячие актеры пьянствуют и бьют своих жен... (Пауза.) Лучше пить вино, чем кровь, и бить свою жену в балагане, чем убивать ее в собственном особняке...

То был год убийства госпожи де Прален. Все взволновались. Из здания суда публика побежала прямо в балаган; все места были немедленно проданы, а в театре играли перед пустым залом.

— В другой раз, в 1849 году, Бетине приехал в Лимож. Там нет постоянного театра, имеется лишь его директор — распорядитель. Воспользовавшись своей привилегией, этот распорядитель, хоть он и не давал спектаклей сам, потребовал от бродячих актеров, чтобы те уплатили налог. Они отказались, и он подал на них в суд.

Представителем балагана оказался Бетине.

Директор был человек неглупый и энергичный.

Он сделал попытку проложить дорогу к сердцу судьи своей добропорядочной жизнью и мужественно выполняемым долгом.

— Я имею право на внимание суда, — сказал он. — За меня говорит мое прошлое. Сейчас я тенор на первых ролях и одновременно директор театра, но когда это было необходимо, я жил трудом своих рук и возил на тачке землю в национальных мастерских.

Бетине встает:

— Это клевета на национальные мастерские: там не трудился никто... (Судьи слушают благожелательно.) И если вы говорите о себе, то я буду говорить за всех нас! В то время как вы губили родину на Марсовом поле, мы служили ей на ярмарочной площади! Бродячие актеры собирали пожертвования в пользу бедных, и один из них передал от имени всех нас семьсот семьдесят семь франков (я называю точную сумму) в руки Ламенне[11] и Беранже, — уж не собираетесь ли вы опорочить также и этих людей?

К несчастью, собственное красноречие опьянило его, и, несмотря на то, что он потряс все души, решение суда все-таки обязало его вручить директору либо шестьдесят франков, либо пятую часть всех сборов.

Пятую часть? Мщение найдено. Он сам объявляет в городе, что вечером касса не будет принимать денег. Каждый заплатит натурой — хлебными корками, пирожными, старыми туфлями, шерстяными жилетами. Пусть директор берет свою пятую часть!

Один из зрителей явился с клистирной кишкой.

— Пройдите в первый ряд! — сказали ему.

Надо было слышать, как о всех этих чудачествах рассказывал сам Бетине. Философ, насмешник и скептик, он радостно встречал каждую новую удачу, а над неудачей смеялся с такой язвительной веселостью, которая поднимала дух балагана в те дни, когда дела были плохи.

Розита не отставала от других и не забывала приветствовать его остроты и взглядом и словом.

Я завидовал успеху шута: я видел, с какой жадностью слушает она его, как боится упустить хоть одно его слово, одно движение, с каким нетерпением ожидает развязки, совершенно забывая при этом о моем существовании.

Сердце мое сжималось, и когда надо было смеяться, мой смех звучал фальшиво. Боль сделала меня злым и несправедливым. Как-то раз я попытался разбить популярность шута и выбить почву у него из-под ног, прерывая ядовитыми замечаниями его рассказ, сделав вид, что мне скучно его слушать.

Пострадал я сам: общественное мнение обернулось против меня, и Бетине окончательно раздавил меня свойственной ему холодной и наглой иронией, выраженной на его смелом жаргоне, на красочном языке жителя предместий. Он переманил насмешников на свою сторону, а Розита и не подумала встать на мою защиту!

В тот день я понял по ее поведению, что все погибло. Моя ученость была «побита», я оказался слабее Бетине, и вся моя латынь только способствовала моему поражению. Пропасть разверзлась, я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног.

Все написанные мною пародии, все выступления, подготовленные заранее, не стоили импровизаций Бетине, который отдавался на волю случая и острил так удачно, что даже актеры труппы, эти пресыщенные люди, любили слушать его и шли на его номера, как журналисты идут на премьеры.

— Что-то он еще придумает сегодня? — говорила Розита окружающим, взбираясь на подмостки балагана, даже не взглянув на меня, не пожав мне руки. Храбрый Пешеход гт? кодировал ногами, а Таинственный Зад приподымалась на том, что служило ей сиденьем, чтобы лучше видеть.

Только я продолжал молча сидеть на месте, не смея взглянуть в ту сторону, потому что некоторые жесты заставляли меня бледнеть, я не хотел, чтобы люди видели мою боль.

О, какие минуты переживал я тогда! Сейчас я почти примирился, но в первые дни — что это была за пытка! Пытка тем более мучительная, что я терзался неуверенностью, что у меня бывали моменты горячки и тревог, перемежавшиеся с минутами облегчения и с возвратами к прошлому, свойственными человеку, когда он не знает и не хочет знать. Такие тревоги в тысячу раз печальнее самой действительности! Мозг раскалывается в поисках оправдания, а сердце — его не обманешь! — то сжимается, то снова раскрывается для надежды, то

